



Ефим БЕРШИН

*

Я встал меж ними,
где дышали
воронки струпьями огня.
И с двух сторон они решали,
кому из них убить меня.

Но не решили.
Солнце село,
изнанку леса показав.
Я спутал логику прицела,
задачу передоказав.

И снайперы,
сверкнув затвором,
лишь птиц спугнули с чёрных крон.
А я себе казался вором,
укравшим пищу у ворон.

*

Что теперь говорить? Что летаю? Нет, не летаю.
Нет, летал когда-то. Когда-то и это было.
Хоть бы раз поглядеть на далекую эту стаю,
что меня на этой земле позабыла.

На земле, на которой всё меньше и меньше места,
как в купе отцепленного вагона.
А вдали — луна, как брошенная невеста,
разрыдалась звёздами в полнебосклона.

Что теперь говорить?

Я ведь тоже когда-то вызрел
в том краю, где растёт виноград, и алеют вина.
Я забыт, как на поле боя забытый выстрел
выбирает цель, которой уже не видно.

*

Перерисую пейзаж за случайным окном.
Перерисую проулок и доски забора
перерисую.
И вспыхнет медовым огнём
Купол берёзы, похожий на купол собора.

Сосны — на стены,
звезду — на печную трубу
перерисую, ничем для себя не рискуя.
Перерисую дорогу и даже судьбу,
если получится, заново перерисую.

И не взорвётся в июле воинственный дождь —
как не воротится в ствол раскалённая пуля.
Просто не будет июля. И ты не придёшь.
И хорошо. Проживём как-нибудь без июля.

*

Мир уже не рифмуется. Бог
не рифмуется с небом бездонным.
Так в волнах заблудившийся бот
не рифмуется с портом и домом.

Над землей прокатившийся смерч
не рифмуется с солнцем весенним,
как сугробы — с капелью,
как смерть
не рифмуется с воскресеньем.

Я уже не рифмуюсь с тобой,
как диван и вчерашние куклы.
Слышишь, вою фабричной трубой
из окна опостылевшей кухни?

Только бездна струится из дыр —
из дивана, из кресла, из пола.
Мир уже не рифмуется. Мир —
пустота опустевшего поля.

Я собою закрою дыру,
прилипая к воскресному креслу.
И уже никогда не умру.
И уже никогда не воскресну.

*

Ночь глуха.
Ни ангела, ни вора.
Никого. Из почерневших туч
хлещет дождь. Не вышло разговора.
Видно небо заперто на ключ.

Тайный, словно книга иноверца,
зыбкий, словно тени при луне,
ты зачем кинжальной болью сердца
по ночам являешься ко мне?

Я не знаю, как тебе молиться.
Я твоих творений не читал.
Я безумен.
Я един в трёх лицах.
Я устал.
Я бешено устал.

Жёлтый лист, размазывая краски,
гасит в луже огненную медь.
Я устал, как Арлекин без маски
устает кривляться и шуметь.

Но опять не вышло разговора.
Ни любви не вышло, ни суда.
Ночь глуха.
Ни ангела, ни вора.
Лишь одна холодная вода,
да сырой дурак у светофора.

*

Я уже, наверно, тебе — никто.
Я тебе в этом времени журавлином —
как в шкафу отслужившее век пальто,
пересыпанное нафталином.

В небесах оставлены голоса
журавлей, что осенью улетели.
Умирая, оставляю тебе глаза,
чтобы день и ночь на тебя глядели.

НАТЮРМОРТ

(холст, масло)

Обнажённая рыба упала ничком
на подмостки стола. Опустившись на дно,
сквозь прореху в кувшине глядело тайком
на её наготу молодое вино.

В позолоченной чашке, почти у окна,
жёлтый парус лимона лежал на мели,
словно взяли и выпили море до дна,
не дождавшись, пока уплывут корабли.

Не умея сдержатъ вытекающий сок,
над равниной салата и прочей едой
недоеденный кем-то арбузный кусок
восходил из тарелки зарёй молодой.

Под мужским каблуком задохнулось стекло.
А на узкой кровати, правее стола,
в голубую подушку дыша тяжело,
вопросительным знаком хозяйка спала.

*

Начинается снег,
будто заново жизнь начинается,
будто заново женщина
с вечера стелет постель.
Начинается так,
как домашний пирог начинается
молодыми грибами
к приходу внезапных гостей.

Начинается снег.
Начинается новая вьюга,
засыпая обломки трагедий
и гвозди голгоф.
Мы ещё влюблены.

Мы ещё не касались друг друга.
Да и гости едва ли касались
твоих пирогов.

Начинается снег.
Между рамами морщится вата.
Заметаются вешки
на дальней кровавой меже.
Ни войны, ни тревоги.
И ты уже не виновата.
Да и я не виновен.
И все не виновны уже.

*

Да что страна, её леса и недра,
когда с какой ни глянешь стороны —
страна всего лишь продолженье неба,
как небо — продолжение страны.

И мы живем, не ведая границы
меж двух миров, во времена, когда
покоя нет, покой нам только снится,
как звездочётам — дальняя звезда.

И только снег, летящий мимо, мимо
чужих домов, где мог бы жить и я,
напоминает о единстве мира,
единстве быта и небытия.

Ведь в сумерках, лишённых дара речи,
так поступь снега сказочно легка,
что от покатых крыш Замоскворечья
почти неотличимы облака.

И кем бы мы не стали, обессилев, —
вечерней тенью, облаком, золой —
когда-нибудь небесная Россия
соединится с русской землёй.

*

И крещенская сырость
сожрёт недокрашенный крест.
И в белесом тумане
чужие заблудятся гости.
И сожмётся ручей.
И куда не посмотришь окрест —
всё леса да погосты в округе.
Леса да погосты.

И томится меж ними
сырой остывающий наст,
как наковка на теле,
как злая острожная участь.

Что ж вы думали там —
не достанет острогов у нас,
чтобы жизнь пережить,
переменчивым счастьем не мучась?

Что ж вы думали там —
не достанет у нас дураков,
чтобы мордой — в трясины,
а всем животом — на кинжалы?

Что ж вы думали там —
у России не хватит врагов,
чтобы всех дураков
навсегда занести на скрижали?

Это — высшая русская мера во
все времена,
это — высшая русская доблесть,
с которой нет сладу,
это — высшая русская доля —
тюрьма да война,
да крутые овраги,
да поздняя горькая слава.

Вам бы распри одни.
Вам бы белую скатерть залить
недопитым вином
да уйти под чужие знамёна.

Что ж вы думали там —
у России не хватит земли?
Чтобы всех примирить.
Чтобы всех позабыть.
Поименно.

